



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

В холодный и ясный апрельский день, ровно в тринадцать часов, Уинстон Смит, уткнувшись в грудь подбородком, чтобы защититься от злого ветра, торопливо скользнул внутрь стеклянных дверей ЖК «Победа» — впрочем, не настолько быстро, чтобы не позволить облачку колючей пыли проникнуть внутрь за его спиной.

В вестибюле пахло подгнившей капустой и старыми тряпичными половиками. На одной из стен висел постер — слишком большой для этого помещения и излишне яркий. На широком, в метр, плакате был изображен обаятельный мужчина лет сорока пяти. Его мужественную физиономию дополняли вызывающие доверие густые черные усы. Уинстон сразу направился к лестнице. Не стоило даже пытаться воспользоваться лифтом: он редко работал даже в лучшие времена, а теперь электричество вообще отключалось днем. Шла кампания экономии перед очередной Неделей Ненависти. Квартира его располагалась на седьмом этаже, и тридцатидевятилетний Уинстон, страдавший от варикозной язвы, располагавшейся над правой лодыжкой, поднимался неторопливо, отдыхая всякий раз, когда этого требовала нога. И на каждой лестничной площадке со своего места перед дверью лифта на него взирало огромное лицо, изображенное так, чтобы казалось, что портрет не отводит глаз от проходящего мимо него человека. БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ, — гласила подпись.

Внутри квартиры сочный голос зачитывал ряд чисел, имевших какое-то отношение к производству чугуна. Голос исходил из похожей на

мутное зеркало продолговатой металлической плашки, занимавшей часть правой стены. Уинстон щелкнул выключателем, и голос сделался тише, хотя слова по-прежнему были различимы. Прибор этот, называвшийся телесканом, можно было только приглушить, но никак не выключить. Невысокий и хрупкий Уинстон подошел к окну. Худобу его тела подчеркивал синий комбинезон — «форма, предписанная членам Партии для ежедневного ношения». У него были светлые волосы; лицо, румяное от природы, с грубой, обветренной кожей, чему способствовали грубое мыло и тупая бритва, но в большей степени — недавно закончившаяся зима.

Мир, оставшийся снаружи, за оконным стеклом, решительно дышал холодом. Внизу, на улице, мелкие вихри гоняли по своим спиральям пыль и обрывки бумаги, и, хотя солнце блистало на небе, полном ослепительной синевы, нигде во всей окрестности нельзя было усмотреть даже одного цветного пятна, если не считать расклеенных повсюду постеров. Лицо с черными усами глядело на тебя отовсюду. Смотрело оно и с фасада дома напротив. БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ, — утверждала подпись, темные глаза проникали прямо в душу. Внизу, над тротуаром, другой постер, надорванный с краю, хлопал, подчиняясь воле ветра, то открывая, то снова закрывая единственное слово: АНГСОЦ. Где-то вдали вертолет скользнул между крышами, завис на мгновение в воздухе наподобие трупной мухи и по дуге отлетел в сторону. Это полицейский патруль заглядывал в окна квартир. Впрочем, патрули не опасны. Другое дело — органы Госмысленадзора.

За спиной Уинстона исходящий из телескана голос бормотал что-то насчет чугуна и перевыполнения Девятого трехлетнего плана. Телескан одновременно работал на прием и передачу. Он уловит любой произведенный Уинстоном звук, кроме разве что самого тихого шепота... более того, пока Уинстон будет оставаться в пределах видимости металлического экрана, его можно не только услышать, но и увидеть с той стороны. Конечно же, невозможно было узнать, наблюдают ли за тобой в данный момент. Как часто или по какой системе органы Госмысленадзора подключаются к личному каналу, оставалось только догадываться. Можно было допустить, что они наблюдают за всеми круглые сутки. Впрочем, они все равно могли подключиться к твоему каналу в любое время. Тебе приходилось жить — и ты жил по привычке, ставшей инстинктом... предполагая, что каждый произведенный

тобой звук будет подслушан, а каждое произведенное тобой не во тьме движение — проанализировано.

Уинстон держался спиной к телескану. Так было безопаснее; хотя он прекрасно знал, что выдать человека способна даже спина. Огромная туша расположенного в километре от его дома Министерства правды, где он работал, возвышалась над серым ландшафтом.

И это, подумал он с легким неудовольствием, Лондон, главный город Первого Аэродрома, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон попытался выжать из детских воспоминаний какие-то крохи, способные рассказать о том, всегда ли Лондон выглядел подобным образом. Всегда ли тянулись вдоль его проспектов ряды обветшавших строений, стены которых подпирали бревна, окна прикрывали картонные заплаты, а покосившиеся ограды домашних садиков оседали во все стороны?

И еще... всегда ли в городе были руины (следы бомбежек), над которыми обычно клубилась известковая пыль, оседавшая на узкие листья кипрея, выбивавшегося между развалин; всегда ли убогие деревянные хижины теснились там, где бомбы расчистили площадки побольше? Однако, невзирая на все усилия, он не мог ничего вспомнить... от детства остались в памяти только какие-то яркие картинки, непонятно к чему относящиеся и по большей части невразумительные.

Здание Министерства правды — Миниправа на новоязе¹ — удивительным образом отличалось от прочих. Оно представляло собой сверкающее белизной бетонное сооружение пирамидальной формы, терраса за террасой поднимавшееся вверх на целых триста метров. С того места, на котором стоял Уинстон, можно было даже прочесть выложенные на белой поверхности элегантные литеры, складывавшиеся в три лозунга Партии:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА

Говорили, что в здании Министерства правды только над землей насчитывается три тысячи кабинетов... и еще столько же — под землей.

¹ Новояз — официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии словарного состава содержатся в Приложении.

На территории Лондона возвели еще три сооружения подобного размера и формы. Они настолько доминировали над всей прочей архитектурной мелочью, что с крыши ЖК «Победа» можно было видеть все четыре одновременно. В зданиях этих размещались четыре министерства, составлявшие правительственный аппарат. Министерство правды, занимавшееся новостями, развлечениями, образованием и изящными искусствами. Министерство мира, ведавшее войной. Министерство любви, охранявшее закон и порядок. И Министерство достатка, специализировавшееся на экономических вопросах. На новоязе они назывались так: Миниправ, Минимир, Минилюб и Минидос.

Облик Министерства любви просто пугал. Окон в нем не было вовсе. Уинстону вообще не приходилось бывать в здании этого министерства и даже подходить к нему ближе чем на полкилометра. Посетить его можно было только по официальному поводу, миновав лабиринт ограждений из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже улицы, ведущие к нему, патрулировали похожие на горилл вооруженные резиновыми дубинками охранники в черных мундирах.

Уинстон резко повернулся, предварительно придав лицу выражение спокойного оптимизма, которое было наиболее уместно перед телесканом, и направился в крохотную кухоньку. Оставив министерство в такое время дня, он пожертвовал ланчем в служебной столовой и в данный момент прекрасно понимал, что в кухне нет никакой пищи, за исключением ломтя темного хлеба, который следовало приберечь на завтра... к завтраку. После чего взял с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на простом белом ярлыке которой было пропечатано: ДЖИН «ПОБЕДА». Напиток испускал неприятный маслянистый запах, похожий на запах китайской рисовой водки. Уинстон налил себе почти полную чайную чашку, приготовился и залпом проглотил джин, как лекарство.

Лицо его немедленно побагровело, а из глаз потекли слезы. Зелье действовало примерно как азотная кислота, более того, глотавшему его человеку невольно казалось, что он получил удар по затылку резиновой дубинкой. Впрочем, в следующее мгновение жжение в желудке стало затихать и мир начал казаться более приветливым. Уинстон извлек сигарету из мятой пачки с надписью СИГАРЕТЫ «ПОБЕДА»

и неловко перевернул ее, отчего табак просыпался на пол, поэтому со следующей сигаретой он обошелся более аккуратно.

Вернувшись в гостиную, он уселся за маленький столик, находившийся слева от телескана. Достал из ящика стола деревянную перьевую ручку, баночку чернил и толстый в четвертую долю листа блокнот с красным корешком и обложкой под мрамор.

По какой-то причине телескан в гостиной был размещен необычным образом. Вместо того чтобы установить его в торцевой стене, откуда обзор открывался на всю комнату, его вмонтировали в более длинную стену, напротив окна. Сбоку от окна был неглубокий альков, в котором сейчас расположился Уинстон; наверное, во время постройки дома эта ниша предназначалась для размещения книжных полок. Устроившись там поглубже, Уинстон как будто бы мог оставаться вне поля зрения телескана. Конечно, его можно было слышать, однако, находясь здесь, он был невидим. Именно необычная геометрия комнаты подтолкнула его к идее, воплотить которую он как раз сейчас намеревался.

Впрочем, к этому намерению подвигла его и книга, которую он достал из ящика. Великолепная и прекрасная книга. Такую гладкую, молочно-белую, чуть пожелтевшую от времени бумагу перестали делать по меньшей мере лет сорок назад. Хотя Уинстон догадывался, что книга эта много старше. Он заметил ее в витрине неопрятной лавчонки старьевщика в трущобном квартале (в каком именно, теперь никак не мог вспомнить) и был немедленно сражен желанием приобрести эту вещь. Предполагалось, что членам Партии не следует заходить в обыкновенные магазины (так сказать, производить операции на черном рынке), однако правило это соблюдалось не слишком строго, поскольку существовали такие предметы, например обувные шнурки и бритвенные лезвия, которые нельзя было раздобыть иным образом. Бросив короткий взгляд по сторонам, Уинстон скользнул внутрь лавчонки и купил книгу за два с половиной доллара. В этот момент он не думал о том, зачем она ему понадобилась. Спрятав покупку в портфель, ощущая себя виноватым, он понес ее домой. Уже само владение этой вещью компрометировало его, пусть даже на страницах книги ничего не было написано.

Собираясь же он сделать вот что: начать писать дневник. Занятие это нельзя было назвать незаконным (незаконных занятий более не существовало — просто потому, что не было никаких законов), однако, если дневник обнаружат, можно было не сомневаться в том, что он

заработает «вышку» или как минимум лет двадцать пять заключения в трудовом лагере строгого режима. Уинстон вставил перо в ручку и облизал его кончик. Подобная ручка представляла собой устройство весьма архаическое, которым редко пользовались даже для подписи, и он раздобыл этот раритет тайно и не без труда, руководствуясь ощущением, что по такой великолепной молочно-белой бумаге следует писать настоящим пером, а не царапать ее чернильным карандашом. На самом деле Уинстон не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, было принято надиктовывать все в микрофон речепринта, что в данной ситуации исключалось. Окунув перо в чернила, он самую малость помедлил, ощутив трепет — нанести любой знак на бумагу значило совершить поступок. И мелкими корявыми буквами и циферками Уинстон написал:

4 апреля 1984 года.

После чего откинулся назад, ощутив вдруг навалившееся чувство полной беспомощности. Начнем с того, что Уинстон не мог с полной уверенностью утверждать, что год действительно является 1984-м. Дату можно было считать только примерной, поскольку он был почти уверен, что сейчас ему 39, и полагал, что родился в 1944-м или 1945-м; но теперь просто не было возможности установить дату с точностью большей, чем один-два года.

Кстати, а для кого — внезапно задался он вопросом — он затеял эту историю, для кого пишет дневник?

Для будущего, для еще не рожденных людей. Разум его воспарил на мгновение над проставленной на странице сомнительной датой, а затем уткнулся в слово новояза: ДВОЕМЫСЛИЕ. Впервые Уинстон в полной мере осознал масштаб затеянного им предприятия... Как можно общаться с будущим? Это невозможно по самой природе общения. Или будущее будет похоже на настоящее и потому не станет слушать его, или оно сделается совсем другим, отчего трудное его дело потеряет всякий смысл.

Какое-то время он просто сидел, тупо глядя на бумагу. Телескан переключился на резкую военную музыку. Любопытно получается... Он не просто потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что именно первоначально намеревался сказать. Все прошедшие недели Уинстон готовился к этому мгновению. Ему даже в голову не приходило, что потребуются нечто иное, кроме решимости. Он был

уверен, что сам процесс письма дастся ему легко. Ведь нужно только перенести на бумагу нескончаемый монолог, который годами звучал в его голове. Однако сейчас, в это мгновение, слова почему-то закончились. Более того, вдруг принялась нестерпимо зудеть варикозная язва. Уинстон боялся почесать ее, потому что от этого она всегда воспалялась. Тикая, пролетали секунды. И Уинстон не ощущал ничего другого, кроме белизны открытой перед ним страницы, зуда над лодыжкой, бляения музыки и вызванного джином легкого опьянения.

А потом, вдруг ощутив приступ паники, начал писать, не слишком четко понимая, что пишет. Строчки, оставленные мелким детским почерком, одна за другой выскальзывали на страницу, на ходу избавляясь от заглавных букв, а потом даже от точек и запятых:

4 апреля 1984 года. Прошлая ночь — вдребезги. Всё военные фильмы. Один очень хороший — о полном беженцев корабле, попавшем под бомбежку где-то в Средиземном море. Публика была увлечена кадрами, на которых рослый и жирный мужчина пытался уплыть от преследовавшего его вертолета. Сперва показывали, как его тюленья туша барахтается в волнах, потом — вид на него через прицел пулемета, затем — его тело, полное дыр, розовеющую воду вокруг — и вот он тонет так быстро, словно вода залилась в тело через раны, а публика задыхается от смеха. После — перед нами полная детей спасательная лодка и вертолет, зависший над нею. На носу ее сидит немолодая женщина, возможно, еврейка, а на коленях ее мальчонка лет трех. Ребенок кричит от страха, прячет голову между ее грудей, словно пытаясь укрыться в ее теле, и женщина обнимает и утешает его, хотя сама посинела от страха... она все время пытается укрыть его собой, словно руки ее способны отразить пули. затем вертолет роняет на них двадцатикилограммовую бомбу и вся лодка разлетается в щепу. потом следует удивительный кадр, на котором рука ребенка взлетает вверх в воздух... должно быть камера на носу вертолета проследила за ней. В том углу, где сидели партийцы, прозвучали аплодисменты но женщина в отведенной пролам части зала вдруг начала кричать что нельзя такого показывать, нельзя

показывать при детях они этого не делали и неправильно показывать такое перед детьми нельзя показывать такого пока полиция ее не выставила из зала не думаю что с ней что-то случилось никого не смущает то что говорят пролы обыкновенно пролы никогда...

Уинстон остановился, отчасти потому, что рука онемела. Он не понимал, что именно заставило его излить такой поток ерунды. Любопытно было другое: пока он писал эти строки, в памяти очистилась другая мысль, очистилась до такой точки, что он посчитал ее достойной помещения на бумагу. Это произошло, как понимал он теперь, из-за того случая, который заставил его вернуться домой и взяться за написание дневника.

Это случилось утром в министерстве, если только такое расплывчатое и туманное событие можно считать происшедшим.

На часах было уже почти одиннадцать ноль-ноль, и в Архивном департаменте, где работал Уинстон, вытаскивали кресла расставляя их в центре холла перед большим телесканом, готовя помещение к Двухминутке Ненависти. Уинстон как раз занял место в среднем ряду, когда в комнате неожиданно появились двое знакомых ему людей, с которыми он, однако, ни разу не разговаривал. Одна — девушка, с которой он часто сталкивался в коридорах. Он не знал о ней ничего, даже имени, помнил только, что работала она в Литературном департаменте. Судя по тому, что подчас он встречал ее с измазанными смазкой ладонями и гаечным ключом в руках, девушка работала механиком одной из сочинявших романы машин. Это была энергичная, быстрая и спортивная на вид особа лет двадцати семи с густыми волосами и веснушками. Узкий алый поясok — эмблема Юношеской антисекс-лиги — несколько раз охватывал талию поверх комбинезона, в меру подчеркивая очертания бедер. Уинстон невзлюбил ее с самой первой встречи. И он знал причину. Дело было в том, что эта девица каким-то образом умудрялась приносить с собой атмосферу хоккейных полей, загородных купаний, коллективных походов и всеобщей чистоты помыслов. Он терпеть не мог всех женщин, особенно молодых и хорошеньких. Именно женщины, прежде всего молодые, становились самыми преданными ханжами на службе Партии, они скандировали лозунги, они шпионили и вынюхивали всякое неправоверие. Однако эта самая девица показалась ему куда более опасной,

чем прочие. Однажды, когда они столкнулись нос к носу в коридоре, она бросила на него косой взгляд, насквозь пронзивший Уинстона и на мгновение наполнивший черным ужасом. Ему даже пришло в голову, что она может оказаться сотрудницей органов Госмысленадзора, чего, по сути дела, и быть не могло. И все же он продолжал ощущать странную неловкость и страх, смешанный с враждебностью, всякий раз, когда девица оказывалась где-то поблизости.

Другим был мужчина по имени О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший настолько важный и высокий пост, что Уинстон имел лишь самое отдаленное представление о его природе. Заметив черный комбинезон члена Внутренней Партии, люди, занимавшие стулья, мгновенно притихли. О'Брайен, рослый и крупный мужчина с толстой шеей и грубым, жестким, но добродушным лицом, невзирая на внушительную внешность, обладал неким обаянием. У него была привычка особым жестом поправлять на носу очки, полностью обескураживая собеседника — в этом была какая-то странная учтивость. Этот жест — если находились еще люди, способные использовать подобную терминологию, — мог принадлежать джентльмену восемнадцатого века, предлагающему собеседнику свою табакерку. Уинстон видел О'Брайена раз десять, наверное, за десять лет. Однако его почему-то влекло к партийному функционеру — и не только потому, что интриговал контраст между вежливой манерой О'Брайена и его внешностью профессионального боксера. В большей степени эта симпатия была следствием тайной веры — или, быть может, просто надежды — в то, что политическая ортодоксальность О'Брайена не совершенна. Что-то в его лице заставляло сделать такое предположение — впрочем, возможно, это был даже не недостаток правоверия, а интеллект. Во всяком случае, внешность этого человека говорила о том, что с ним можно поговорить с глазу на глаз — если ты каким-то образом ухитришься обмануть телескан. Уинстон никогда не предпринимал даже малейшей попытки подтвердить свою догадку: способа сделать это на самом деле не существовало. В этот самый момент О'Брайен бросил взгляд на свои наручные часы, заметил, что показывают они ровно одиннадцать, и явно решил задержаться в Архивном департаменте до завершения Двухминутки Ненависти. Он занял сиденье в том же ряду, что и Уинстон, в паре мест от него. Разделяла их невысокая женщина со светлыми, почти песочного цвета

волосами, работавшая в соседней с Уинстоном ячейке. Темноволосая девушка сидела сразу позади.

В следующее мгновение находившийся в конце комнаты телескан изрыгнул жуткие, наполненные змеиным шипением слова. От звука их скрежетали зубы, волосы на затылке вставали дыбом. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появилось лицо Эммануила Гольдштейна, врага народа. Аудитория утробно зарычала. Крохотная светловолосая соседка пискнула от страха и отвращения. Гольдштейн, ренегат и вероотступник, когда-то (насколько давно — этого никто уже не помнил) считался в Партии одной из ведущих персон и стоял почти на одном уровне с Большим Братом, однако занялся контрреволюционной деятельностью, был осужден на смерть, но таинственным образом избежал казни и исчез. Программы Двухминутки Ненависти менялись день ото дня, однако в любой из них Гольдштейн представлял собой центральную фигуру — как главный предатель, первый осквернитель чистоты Партии. Все последующие преступления против Партии, измены, акты саботажа, ереси, заблуждения являлись прямыми следствиями его учения. Каким-то неведомым образом он до сих пор оставался живым и плел свои сети: быть может, за морем, под опекой своих иноземных работодателей, или даже — так иногда утверждали — в каком-то укроном уголке самой Океании.

Дыхание Уинстона перехватило. Облик Гольдштейна всегда производил на него самое болезненное впечатление. Худощавое еврейское лицо под пышным облачком седых волос, с небольшой козлиной бородкой... умное лицо, и тем не менее каким-то необъяснимым образом достойное только лишь осуждения; форма длинного тонкого носа, на самом кончике которого были водружены очки, словно бы свидетельствовала о старческом слабоумии. Лицо это напоминало овечью морду, и в голосе, кстати, тоже слышались нотки бляения. Гольдштейн, как обычно, с ядовитой злобой нападал на учение Партии, искажая его самым преувеличенным и извращенным образом так, что и малый ребенок мог разгадать обман, и тем не менее наполняя человека тревогой: что, если другие люди, не такие уравновешенные, увлекутся этой пропагандой? Он оскорблял Большого Брата, он отвергал диктатуру Партии, он требовал немедленного заключения мира с Евразией, он выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли... он истерически кричал о том,

что революция предана — и все это торопливой скороговоркой, пародирующей стиль партийных ораторов; он даже употреблял слова новояза, причем в куда большем количестве, чем позволил бы себе любой член Партии. И одновременно, чтобы никто не усомнился в реальности того, что покрывала собой лицемерная трескотня Гольдштейна, на телескане за его спиной маршировали бесконечные колонны евразийской армии: шеренга за шеренгой крепкие мужчины с бесстрастными азиатскими лицами выплывали на середину экрана и таяли у его края, уступая место точно таким же. Тупой ритмический топот солдатских башмаков создавал фон блеющему голосу Гольдштейна.

Хотя Ненависть еще не продолжалась и тридцати секунд, половина присутствовавших в комнате людей разразилась произвольными яростными воплями. Самодовольная баранья физиономия на экране, подчеркнутая жуткой мощью евразийской армии, производила неизгладимое впечатление, к тому же вид Гольдштейна и даже мысли о нем автоматически рождали страх и гнев. Он являлся объектом ненависти куда более постоянным, чем Евразия или Востазия, так как, конфликтуя с одной из этих держав, Океания обыкновенно находилась в мире с другой. Странно было вот что: хотя все ненавидели и презирали Гольдштейна, хотя каждый день и тысячу раз на дню его теории опровергались, вдребезги разбивались, осмеивались на митингах, на телескане, в газетах и книгах, выставлялись на всеобщее обозрение в качестве жалкой чепухи, каковой они и являлись... невзирая на все это, влияние его ни на каплю не уменьшалось. Всегда находился очередной дурак, попавший в его сеть. Ни один день не проходил без новых разоблачений шпионов и саботажников, действующих по указке врага народа и обнаруженных органами Госмысленадзора.

Он являлся командующим огромной, прячущейся в тенях армии, подпольной сети заговорщиков, стремящихся ниспровергнуть само государство. Предполагалось, что эта армия именовалась Братством. Ходили также слухи о жуткой книге, собрании всех ересей, автором которых являлся Гольдштейн, ходившей среди населения подпольно. Книга эта не имела названия. Упомянув ее, если таковое случалось, люди использовали просто слово КНИГА. Однако о подобных вещах было известно только по крайне неопределенным слухам. Как Братство, так и КНИГА представляли собой предметы, которые не при-

стало упоминать простому члену Партии, если есть способ избежать этого.

На второй минуте Ненависть превратилась в ярость. Люди начали прыгать на своих местах и орать во всю глотку, чтобы заглушить сводящий с ума блеющий голос, доносящийся с экрана. Лицо маленькой женщины с волосами песочного цвета сделалось ярко-розовым; она раскрывала и закрывала рот, словно пойманная рыба. Покраснело даже тяжелое лицо О'Брайена. Он сидел, выпрямив спину, в своем кресле, могучая грудная клетка вздымалась и трепетала, словно ее хозяин готов был принять на себя натиск волны. Темноволосая девушка, сидевшая за спиной Уинстона, вдруг закричала: «Свинья! Свинья! Свинья!», схватила со стола тяжелый том словаря новояза и швырнула его в экран. Корешок угодил прямо в нос телевизионному Гольдштейну, книга свалилась на пол; голос невозмутимо продолжал говорить. В какой-то момент просветления Уинстон обнаружил, что орет вместе со всеми и отчаянно стучит каблуком в перекладину стула. Самым жутким в этих Двухминутках Ненависти было не то, что в них приходилось участвовать, а, напротив, то, что к ним невозможно было не присоединиться. Через тридцать секунд любое притворство становилось излишним. Жуткий экстаз, рожденный слиянием страха и мести, желанием убивать, пытать, разбивать лица молотком, действовал на людей так, будто сквозь них протек электрический ток, превращающий каждого в гримасничающего и вопящего безумца. Тем не менее охватившая всех ярость представляла собой некую абстрактную, не имеющую направления эмоцию, которую можно было перемещать с предмета на предмет — как факел паяльной лампы. Так что в данный момент ненависть Уинстона была направлена совсем не на Гольдштейна, а, наоборот, на Большого Брата, на Партию и органы Госмысленнадзора; и в такие мгновения сердце его устремлялось к остававшемуся на экране одинокому и всеми осмеянному еретика, единственному хранителю правды и здравого смысла в мире лжи. А буквально в следующее мгновение он ощущал единство со всеми окружающими, и все сказанное о Гольдштейне снова казалось ему истиной. В такие моменты тайное отвращение, которое Уинстон испытывал в отношении Большого Брата, превращалось в обожание, и Большой Брат обретал величие, становился бесстрашным защитником, несокрушимой скалой, преграждавшей путь азиатским ордам, а Гольдштейн, вопреки своему одиночеству, беспомощности, облаку сомнений, окутывавшему

сам факт его существования, делался похожим на зловещего колдуна, способного просто силой своего голоса разрушить саму структуру цивилизации.

Временами Уинстону удавалось осознанным усилием воли перенаправлять свою ненависть. Внезапным, буйным порывом, похожим на тот, что заставляет оторвать голову от подушки в кошмаре, он сумел перенести ненависть с лица на экране на сидевшую за ним темно-волосую девушку. Яркие, полные жизни образы, сменяя друг друга, замелькали в его голове. Он забьет ее насмерть резиновой дубинкой, привяжет ее голой к столбу и изрешетит стрелами, как Святого Себастьяна. Изнасилует и в момент оргазма перережет ей горло. Более того, куда лучше, чем когда-либо прежде, Уинстон осознал, ПОЧЕМУ ненавидит ее. Потому что она молода, красива, фригидна, потому что он хочет спать с ней и не может надеяться на это, потому что восхитительно тонкую талию охватывает мерзкий красный кушак, знак агрессивного целомудрия.

Ненависть достигла своего апогея. Голос Гольдштейна и впрямь превратился в бляение, а рожа его — в овечью морду. Потом это обличье расплылось и превратилось в фигуру евразийского солдата, наступавшего, громадного и ужасного. Автомат в руках его рычал, солдат вот-вот должен был соскочить с экрана... впечатление было настолько сильным, что сидевшие в первом ряду даже начали вжиматься в кресла. Однако буквально в тот же самый момент под всеобщий вздох облегчения из очертаний врага возникло лицо Большого Брата — черноволосое, черноусое, полное силы и загадочного спокойствия, оно сразу заполнило собой весь экран. Никто не слышал, что именно говорит Большой Брат. Должно быть, несколько слов поддержки, которые обычно произносятся посреди лязга битвы. Неразличимые по отдельности, они восстанавливают уверенность тем, что были произнесены. Затем лицо Большого Брата померкло, и на экране появились три лозунга Партии, написанные заглавными черными буквами:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА

Однако лицо Большого Брата на несколько секунд еще как будто задержалось на экране, словно само воздействие его на сетчатку глаз

присутствующих не позволяло изображению померкнуть. Невысокая женщина с волосами песочного цвета припала лицом к спинке стоявшего перед ней стула. Дрожащим голосом произнося нечто вроде «Спаситель мой!», она протянула руки к экрану, а потом уткнулась лицом в ладони — очевидно, произносила молитву.

Тут все собравшиеся начали негромко, неспешно скандировать нараспев «Б-Б!.. Б-Б!» — снова и снова, с долгой паузой между первым «Б» и вторым... Звук получался каким-то дикарским, подразумевающим одновременно топот босых ног и грохот тамтамов. Он продолжался секунд тридцать. Этот припев часто звучал, когда аудиторию переполняли чувства. Отчасти он являлся гимном мудрости и величию Большого Брата, однако в большей степени это был акт самогипноза, преднамеренного отупения сознания посредством ритмического шума.

Само нутро Уинстона похолодело. Во время Двухминутки Ненависти он не мог устоять против общего чувства, но это вот недостойное человека скандирование «Б-Б!.. Б-Б!» всегда наполняло его ужасом. Конечно, он издавал эти звуки со всеми — поступить иначе было невозможно. Забыть про собственные чувства, контролировать выражение своего лица, делать то же самое, что и остальные, — это было естественной реакцией. Однако существовала пара секунд, когда выражение глаз вполне могло предать его. И именно в этот момент случилось — если оно и в самом деле случилось — значительное событие.

На какой-то миг он встретился взглядом с О'Брайеном. Тот только что встал. Снял с носа очки и уже водружал их обратно характерным жестом. Однако на какую-то долю секунды взгляды их пересеклись, и за это короткое время Уинстон понял — да, ПОНЯЛ! — что О'Брайен разделяет его думы, оба их разума как бы раскрылись навстречу друг другу, и мысли потекли по взглядам, как по каналу.

— Я с тобой, — как бы говорил ему О'Брайен. — Я в точности знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я знаю всю меру твоих чувств: презрения, ненависти, разочарования. Но не беспокойся, я на твоей стороне!

А потом вспышка взаимного доверия погасла, и лицо О'Брайена сделалось таким же невозмутимым, как и у всех остальных.

Впрочем, Уинстон не был уверен в том, что это произошло на самом деле. Подобные вещи никогда ничем не заканчивались. Они только поддерживали в нем веру... или хотя бы надежду на то, что кроме него



есть и другие враги Партии. Как знать, быть может, слухи о крупномасштабном подпольном заговоре все-таки верны... быть может, и Братство тоже существует! С учетом нескончаемых покаяний, признаний, арестов и казней трудно было усомниться в том, что Братство не просто миф. Иногда Уинстон верил в его существование, иногда нет. Доказательств не существовало, только мимолетные взгляды, которые могли означать все что угодно или ничего вообще; обрывки подслушанных разговоров, короткие надписи на стенах уборных... обмен почти незаметным жестом между двумя незнакомцами, способным сойти за условный знак признания единомышленника. Сплошные догадки; он мог и придумать все это... Уинстон вернулся в свою каморку, не глядя больше на О'Брайена. Мысль о том, чтобы развить этот мимолетный контакт, даже не пришла ему в голову. Это было бы чрезвычайно опасным поступком для Уинстона, даже если бы он знал, с чего ему следует начать. Да, на секунду-другую они обменялись двусмысленными взглядами, и на этом все закончилось. Но даже и в таком виде это было памятным событием в спертom одиночестве и духоте его повседневной жизни.

Уинстон сел ровнее и выпрямил спину. Рыгнул. Джин бунтовал в животе.

Глаза вновь обратились к странице. И он обнаружил, что, погрузившись в размышления, по какой-то причине, не замечая того, автоматически писал, причем не ломаным неловким почерком, как прежде. Перо вольно скользило по гладкой бумаге, оставляя на ней крупные заглавные буквы:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
 ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
 ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
 ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
 ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

снова и снова, пока не заполнило этими строками полстраницы.

Уинстон не мог не поддаться приступу паники. Абсурдной, поскольку написание этих слов было не более опасно, чем сам факт ведения

дневника, но на какое-то мгновение он ощутил желание вырвать испорченные страницы и вовсе забросить начатое им предприятие.

Однако он не стал этого делать, понимая, что это ничего не даст. Неважно, написал ли он ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА или же воздержался от такого поступка. Неважно, будет ли он продолжать свой дневник или же забросит. Органы Госмысленадзора доберутся до него и в том и в другом случае. Он совершил — или совершил бы даже в том случае, если бы вовсе не приложил перо к бумаге, — основное, сущностное преступление, содержащее в себе все остальные. Его называли мыслепреступлением, и оно было не из тех, которые можно долго скрывать. Какое-то время тебе удавалось увильнуть, но рано или поздно тебя накрывали.

Арестовывали обычно ночью. Грубая рука на твоём плече вырвала тебя из сна, фонари светили прямо в лицо, постель окружали люди с жесткими лицами. Суда в подавляющем большинстве случаев не было, сообщений об арестах — тоже. Люди просто исчезали, и всегда ночью. Имя твоё вычеркивалось из любых списков, как и всякое упоминание о тебе, обо всем, что ты делал... Сначала отрицался сам факт твоего существования, а потом тебя забывали полностью, отменяли, аннигилировали: ИСПАРИЛСЯ — обычно говорили о таких людях. На мгновение он поддался истерике. И начал писать неопрятной скорописью:

*...они застрелят меня а мне все равно они застрелят
меня в затылок а я плевал на Большого Брата они всег-
да стреляют в затылок тем кто плюет на Большого
Брата...*

Слегка стыдясь себя самого, Уинстон откинулся на спинку сиденья, положил перо — и в следующее мгновение вздрогнул: в дверь постучали.

Уже! Он притих, словно мышка, в тщетной надежде на то, что стучавший удовлетворится единственной попыткой и уйдет. Но нет, стук повторился.

Затягивать время хуже всего. Сердце его колотилось как барабан, но лицо оставалось спокойным — возможно, благодаря привычке. Поднявшись на ноги, Уинстон тяжелыми шагами побрел к двери.

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
Глава 1	4
Глава 2	21
Глава 3	28
Глава 4	36
Глава 5	45
Глава 6	59
Глава 7	65
Глава 8	76
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	97
Глава 1	98
Глава 2	108
Глава 3	117
Глава 4	125
Глава 5	135
Глава 6	143
Глава 7	146
Глава 8	153
Глава 9	163
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	205
Глава 1	206
Глава 2	218
Глава 3	237
Глава 4	248
Глава 5	255
Глава 6	259
ПРИЛОЖЕНИЕ	269
Основы новояза	270